

# НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

УДК 81



**O.B. Никитин**

*Московский государственный областной университет*

## «...РЕШИЛ БЕСПОВОРОТНО ИДТИ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ» (ДИСКУССИИ И СПОРЫ М.А. ВОЛОШИНА С А.М. ПЕШКОВСКИМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 1900-х гг.)

В статье раскрывается биография выдающегося отечественного лингвиста и методиста А.М. Пешковского (1878–1933) в начале его творческого пути (1900-е гг.). Описываются и комментируются малоизвестные факты из жизни будущего ученого за границей и его отношения с близким другом А.М. Волошиным, воссозданные по документальным свидетельствам и переписке. Особое внимание обращается на психологический и социокультурный портрет А.М. Пешковского на фоне бурных исторических событий того времени: его переживания и скитания, поиски собственного ego, попытки нащупать новые идеи в филологии и прежде всего в эстетическом осмыслиении текста и т. д. В работе показаны изменения характера и целевых установок формирующейся личности А.М. Пешковского. Они связаны с переходом от увлечения естественными науками к филологии и педагогике. Важное место в публикуемой мемуаристике занимают описания европейских нравов, путешествий М.А. Волошина и А.М. Пешковского, их культурологические и философские споры. Фиксируются также важные исторические события в жизни начинающего лингвиста, повлиявшие на его биографию (волнения в Императорском Московском университете в феврале 1902 г., за участие в которых он был арестован). В статье представлен богатый фактический материал о культурной жизни эпохи, вплетенный в психологию чувств и «сердечного воображения» двух ярких деятелей того времени – М.А. Волошина и А.М. Пешковского.

Социокультурный портрет, биография, филология, эстетика, научное творчество, история.

Жизнь в Европе сблизила М.А. Волошина с А.М. Пешковским, но в то же время обнажила и определенные противоречия между друзьями. Каждый шел к желанной мечте своими дорогами и не искал легких путей. А.М. Пешковский уже испытывал некоторые «борения» в душе: его не удовлетворяла безликая глубина естествознания и тянуло к тем наукам, которые слышат живой дух человека. Его корабль медленно, но верно пристал к филологической гавани (о раннем периоде биографии см. [8]).

Тем временем старые знакомые вновь встретились в Европе: А.М. Пешковский еще учился в Берлинском университете, а М.А. Волошин посещал лекции по искусству в Париже. К этому периоду их дружбы относится совместное путешествие по Бретани и окончательный отъезд А.М. Пешковского в Москву. М.А. Волошин сообщал об этом в письме матери из Парижа 29 апреля/9 мая 1901 г.: «Я Вам, кажется, писал о Пешковском, что он, заканчивая этим летом свои естественно-научные занятия, поступает на филологический факультет и едет для этого обратно в Россию. В будущем он, кажется, хочет избрать себе педагогическую карьеру» [2, с. 520].

В 1901 г. М.А. Волошин и А.М. Пешковский путешествовали вместе по Бретани [2, с. 518].

Друзья часто спорили, обсуждали общественную жизнь в России («ведь он теперь убежденный социал-

демократ» [2, с. 606]), что значит учиться, делились сокровенными мыслями и порой не находили взаимопонимания. Эти противоречия понемногу отдаляли однокашников-гимназистов, и со временем их отношения охладели, но воспоминания о былой юности согревали каждый раз их сердца при встрече. Пока же в эти последние месяцы пребывания А.М. Пешковского в Европе перед отъездом в Россию они много говорили о смысле образования, о традициях просвещения. «И Вы спрашиваете, начал ли я учиться! – восклицал в письме А.М. Петровой М.А. Волошин из Парижа 14/27 августа 1901 г. – И когда же люди поймут, что учиться можно только на свободе, а не в тюрьме. Всякое учебное заведение, которое нужно проходить, – тюрьма. У меня в Национальной библиотеке под руками все, что когда бы то ни было было написано на земле. Это Вы не называете учением? У меня перед глазами все то высокое и низкое, прекрасное и отвратительное, к чему привели три тысячи лет европейской истории. И это Вы не называете ученым? Да знаете ли Вы, что я только в первый раз во всей своей жизни понял теперь, что значит учиться!» [2, с. 606–607]

Произошел перелом и в сознании А.М. Пешковского, и этот его очередной поворот вызывал недопонимание знакомых, привыкших к поступательному движению по одной линии. Приведем цитату из того

же письма М.А. Волошина А.М. Петровой: «Вы возмущаетесь, что Пешковский идет на филологический факультет? Почему? Мы весной много говорили об этом. Я его убеждал всеми силами сделать это. Он колебался, но наконец тут же в Париже решил бесповоротно перейти на филологический. Разве вы не видите, что без широкого гуманитарного образования он не будет полон, он не будет Пешковским. Одно, с чем я не согласен, это то, что он едет в Россию для этого. Он много потерял в широте. А ее-то ему теперь больше всего надо. Он слишком глубок и осторожен.

Если бы он с самого начала попал не в поганый Берлин, а в Париж, то он бы другим стал. Ему бы Париж размах дал. Не выдержит он в России. Измучает его университетская жизнь. Ведь теперь вернуться в русский университет – то же самое, что из университета вернуться в гимназию. Он и сам это предчувствовал.

“Трудно будет к форме привыкнуть опять”, – говорил он в Париже. “Я форму буду только в университете надевать, а всегда буду носить штатский костюм”.

Это очень многозначительно. Пока он идеализирует Россию. Но, приехавши, увидит через несколько месяцев, что штатского платья (в отвлеченном смысле) в России никак не наденешь» [2, с. 607].

Через несколько дней М.А. Волошин уже пишет самому А.М. Пешковскому, где предостерегает его о трудностях: «Неужели все-таки в Москву? Помни мое предсказание: не выдержишь. Попробовав заграничной жизни, вернуться в русский университет так же трудно, как вернуться из университета в гимназию» [2, с. 618]. А завершается это послание такими пронзительными словами друга: «Мне главное досадно, что, вернувшись теперь в Россию, и через 3 месяца совершенно разочаровавшись в русских университетах, ты надрывом заставишь себя остаться, а уж не уедешь за границу. И теперь у тебя уже ведь никого знакомых в Москве не будет: совсем чужой, совсем новый город. И какой скучный, какой пакостный. Помдумай еще об этом раньше. Но не оставайся и в Германии» [3, с. 619].

Скорее всего противоречия М.А. Волошина с А.М. Пешковским носили не сугубо идеологический характер, а психологический, связанный с отношениями к окружающей жизни и профессиональным талантам каждого, возможности реализации задуманного и той «методе», которая двигала их стремления к постижению истины. Словом, во многом они оказались разными. Самокопание, самоистязание как бы углубляло внутренние противоречия когда-то близких друзей. В письме А.М. Петровой из Парижа 1/14 сентября 1901 г. М.А. Волошин откровенно говорил об этом: «Теперь я чувствую и вижу, что иду снова к Вам громадными шагами, удаляясь с каждым шагом от Пешковского, который неуклонно и прямо идет все в ту же сторону, в какую пошел он еще в VI класс гимназии. Он идет медленно и твердо, ощупывая каждый шаг и прорубая просеку, строго придерживаясь намеченного румба. Я же бегу извилистыми тропинками, может быть, теперь я очень далеко впереди него, но я легко теряю дорогу и направление, и после он наверно меня перегонит. Он не умеет скакать через

логические преграды, как скаковая лошадь через барьер, он их должен разрушить, чтобы пройти. Зато назад он никогда не вернется. А мне это всегда приходится делать» [4, с. 631].

Итак, с осени 1901 г. А.М. Пешковский учился уже на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета. Но сбылась ли его мечта? Какие чувства он испытывал от такого поворота? Что ожидало его в этой новой жизни? Обо всем он по-прежнему делился с М.А. Волошиным:

«Некоторые лекторы увлекают меня, раскрывают совершенно новые горизонты, дают понять, что напрасно я поставил (для себя) крест над историей на основании отношения своего к истории гимназической. Словом, я увидел совершенно новые научные области. Я говорю о лекциях Виноградова, Веселовского, Трубецкого (история древней философии), больше же всего о первом. Правда, из 20 обязательных часов нашлось лишь 6, которые я нахожу нужным слушать, но эти 6 дают мне очень много, а главное [–] возбуждают во мне интерес к делу, что и должно составлять главную цель всякой лекции <...> Одно, что неприятно действует – форменная одежда. К этому я и до сих пор не могу привыкнуть <...> С каким чувством я входил в университет? Смешанное чувство приятного воспоминанья далекого прошлого <...>, любопытства (я успел уже перезабыть все внешнее), неловкости за свою форменную одежду, изумления перед общей беспорядочностью, хаотичностью, теснотой помещений, грязью, вонью, стремление отделить созерцаемые внешние черты <...> от внутренних и постоянное сравнение с заграницей. Студенты произвели на меня сначала не очень выгодное впечатление, что я объясняю во-первых тем, что из прекрасного далека все кажется прекраснее, чем есть, а во-вторых, что я попал на 1-й курс и, следовательно, нахожусь собственно среди детей. Впрочем, теперь я в конце концов все-таки вижу в них ту самую молодежь, которую вспоминал в Берлине, столь отличную от немецких буршей, вижу духовность, интерес к предмету. В одном только отношении самый талантливый из наших студентов уступит самому нелепому, самому идиотскому буршу – в способности коллегиального обсуждения какого-либо вопроса. <...> У нас на филологическом было факультетское совещание под председательством проф. Виноградова, и вот на этом-то совещании я и был поражен косноязычием ораторов и неумением держать себя всей публики, включая и председателя» [2, с. 682].

Но невзирая на всю внешнюю неприглядность университетского быта, А.М. Пешковский очень хочет учиться словесному ремеслу, к которому шел сквозь долгие годы переживаний и поисков собственного ego. У него даже возникла новая идея, о которой он обмолвился с М.А. Волошиным, – «открыть свою гимназию» [2, с. 695]. Но этому не суждено было случиться. Он попал в очередную историю, которая чуть было не стоила ему жизни и профессиональной карьеры.

В феврале 1902 г. в Московском университете опять начались волнения. Поводом для выступлений стало утверждение «Временных правил» о студенческих организациях министра народного просвещения

генерала П.С. Ванновского. 9 февраля в актовом зале Московского университета состоялось собрание, на котором большинство студентов поддержало политическую резолюцию, в которой говорилось: «[...] считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований» [6, с. 395].

А.М. Пешковского арестовали 9 числа. «У него нашли револьвер», — сообщал М.А. Волошин А.М. Петровой из Парижа 23 февраля/8 марта 1902 г. И продолжал: «Понимаете, что это значит? Если это ссылка — то это благоденствие для него: он отдохнет. Но пред этим ведь месяцы тюрьмы — с его нервами, с его бессонницами, с его желудком, при той тюремной пище, которую даже я не выдерживал. А потом — взят с оружием в руках — за это ведь ссылали в Якутскую область, за это бывало и хуже. Верно ли то, что он был с револьвером? Я думаю: да» [2, с. 713]. Это письмо М.А. Волошина преисполнено сочувствием происходившим событиям и опасением за судьбу друга. Он воскликнул: «Нелепая страна! Нелепые порядки! [...] Какое позорное время! [...] Стыдно оставаться на свободе, когда другие сидят в тюрьме [...] У нас есть и генералы от революции, которые так же почетно декорируют стены заграничных митингов, как благонамеренные генералы на свадьбах.

Бедный Саша... Мне страшно себе представить его в одиночке. А ведь я это ему предсказывал, я ему писал об этом осенью» [2, с. 714–715].

Из Парижа своей знакомой Л.О. Вяземской он сообщал 5/18 марта 1902 г.: «Пешковский арестован 9 февраля. Говорят, что он долго не решался идти, но потом пошел с сознанием бессмыслинсти этого. Вероятно, его сошлют в Сибирь, т<sup>ак</sup> к<sup>ак</sup> мне писали, что при нем был револьвер. Если тюрьма не убьет его физически, то ссылка может быть для него спасением от умственного переутомления. Стыдно быть здесь, когда там начинается. Но я все-таки не поеду до тех пор, пока не совершу свою программу осмотра земного шара. Я многое готов простить правительству, но только не Пешковскому» [2, с. 730].

В другом письме из Парижа 5/18 марта своему родственнику Я.А. Глотову он так характеризовал обстановку: «В России между отдельными классами лежит расстояние в несколько столетий. Поэтому, когда сделаешь прыжок через одно или два столетия и попадешь в Париж, то поневоле то, что делается ныне в России, в глубине столетия кажется абстракцией. Реально мне близки только несколько лиц: Пешковский был одним из самых близких, поэтому его арест для меня гораздо реальнее, чем все русские побоища...» [6, с. 394].

Можно только предполагать, каких усилий стоило А.М. Пешковскому выжить в таких тяжелых условиях, ведь содержался он в Бутырской тюрьме 5 месяцев и освободился 22 июля 1902 г. «по Высочайшему повелению на месяц раньше срока» [2, с. 756]. В том же письме М.А. Волошину 12 августа 1902 г. из Томска он сообщал: «В Москве пробыл лишь один день [...] Напиши, что это за faculté des lettres в Сорbonne, что там проходят и какой минимальный срок обучения,

если же выпускной экзамен можно держать когда угодно, то каков обычный срок. Я подумываю теперь, если обнаружится [...], что по окончании его можно держать в России государственный экзамен на филол<sup>огическом</sup> факультете, махнуть туда» [2, с. 756]. И хотя М.А. Волошин очень ждал своего друга, А.М. Пешковский так и не приехал в Париж.

Переписка М.А. Волошина с А.М. Пешковским раскрывает ту часть их духовного общения, волновавшую обоих с ранних лет: они жили творчеством, которое бессознательным образом двигало их мыслями и поступками, заставляло переписывать историю жизни, меняло и создавало новые культурные символы, рождало свежие идеи. Так, в письме М.А. Волошину 7 января 1904 г. А.М. Пешковский говорил о своем художественном перевороте после знакомства с московской коллекцией С.И. Щукина: «Я должен быть очень благодарен тебе за протекцию. Коллекция эта произвела полный переворот в моем отношении к живописи. Могу сказать, что я до осмотра этой коллекции страдал в этом отношении “цветной слепотой”, теперь же прозрел [...] переворот произошел громадный. Случился он собственно благодаря Уистлеру. На его картинках я впервые почувствовал краски, впервые отвлекся от сюжета и увидел на мгновение только краски. А затем я уже стал видеть их везде, и в тех картинах, в которых раньше не видел» [3, с. 105].

25 февраля 1904 г. А.М. Пешковский признавался Волошину: «...я взял под свою защиту в кружках курсисток и студентов, где бываю, Брюсова, которого теперь очень высоко ставлю, а некоторые вещи даже очень люблю. И Бальмонта теперь ругать не позволяю, а больше всего злюсь, когда слышу слово “декадентство”. Произнесший его обыкновенно получает от меня внушение» (см. подробнее: ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. № 964. Цит. по изд.: [3, с. 105]).

Их дискуссии и споры часто превращались в философские письма и признания, в желание вывернуть наружу свою обнаженную душу и всегда быть искренним друг перед другом. Приведем письмо М.А. Волошина А.М. Пешковскому из Парижа 2/15 марта 1904 г.:

Дорогой Саша!

Я перед тобой очень виноват столь продолжительным молчанием. После наших бесплодных попыток понять друг друга в Москве у меня все не хватало духа или, скорее, желания взяться за перо. Теперь я вижу из твоих писем только подтверждение моей старой теории о том, что люди никогда не могут согласиться ни с какой чужой мыслью, если разговор носит характер спора. Но спустя несколько времени брошенные мысли всходят как семена.

Спор — и неизбежный протест противоречий, связанный с ним, только затрудняют эти всходы. Согласно этой теории написана и моя статья о живописи (имеется в виду статья М.А. Волошина «Скелет живописи», опубликованная в журнале «Вѣсы» (№ 1, 1904). В отклике на нее у А.М. Пешковского было много критики: «чудовищность изложения», «окрошковидность» и т. д. См. подробнее: ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. № 964; также [3, с. 105]. — О. Н.). Я хотел только бросить несколько новых мыслей как семена. В этом есть известное самоотречение. Я не хотел класть клейма своих доказательств на высказанные мною мысли. Таких примет большее число людей и, подыскав к ним свои доказательства, будут считать их своими. Клеймо автора только

задерживает распространение мысли. А мне важны всходы. Надо писать так, чтобы читатель, прочтя статью, вполне искренно стал считать ее мысли своими собственными. Это одно из следствий моей теории анонимного искусства, о котором я теперь пишу целую статью.

Напрасно ты думаешь только, что я целиком выловил все, что у меня было. У меня еще много и очень много мыслей об искусстве и не менее новых и не менее необычных.

Тут я изложил большой отдел – основы, но это только первая часть.

Меня только удивляет то, что ты называешь статью «окрошкой». В ней есть большая внутренняя связь и последовательность. Она вся представляет развитие одной мысли, об относительности нашего зрения и о гипнозе «видения». Я только отбросил все ненужные внешние связи и слова. Но этим я достиг высшего достоинства – краткости.

Я рад, что ты начал понимать Брюсова, Бальмонта и французских художников. Это все-таки ломает многие наросшие между нами преграды и дает по крайней мере возможность говорить. А то ведь мы в сущности были совершенно лишены этого.

Я чувствую необходимость все-таки дать тебе некоторое разъяснение относительно многих странностей во время пребывания в Москве. Мне тогда до такой степени было не до эстетических и теоретических разговоров.

Дело в том, что я как раз в то время был в первый раз в своей жизни влюблена со всеми особенностями этого состояния. (Пожалуйста – это строго между нами. Об этом решительно никто не знает и это решительно никому знать не нужно[,] и я не хочу, чтобы кто-нибудь знал. Тебе я пишу, потому [что] чувствую себя обязанным тебе некоторым объяснением своего поведения). Состояние это в день моего отъезда было до такой степени остро (помните наши нелепые разговоры у тебя в комнате и в ресторане?), что я, сев в вагон, ревел всю ночь в буквальном смысле слова, что со мной с шестилетнего возраста не бывало. Понимаешь, в каком состоянии я был. Мне теперь дико об этом вспоминать: как будто не о себе. И мне тогда ужасно было важно с тобой поделиться, но ты так был невыносим со своими логическими требованиями и теоретическими разговорами, что тебя проклинал в душе ежеминутно. Меня только удивляет, как ты, будучи настолько сам на опыте знаком с подобными состояниями и с твоими наблюдениями за моим характером, ничего не заметил и не почувствовал. А это было так явно моментами и в стихах, которые я писал тогда.

Твои моральные принципы не изменились от признания поэзии Брюсва и Бальмнта? Волю свою ты воспитывала успешно?

У меня то же самое. Я по-прежнему в спокойном состоянии ума признаю полную моральную свободу, и как только охватывает половины кошмар, из глубины тотчас же поднимаются старые пружины нравственности и непускают. Вечная и нелепая история. Результаты такие нравственные и похвальные, как у тебя [...] [3, с. 102–104].

Еще одна черта, сближавшая М.А. Волошина с А.М. Пешковским, какими бы противоречиями они ни страдали, – это страсть к путешествиям, которая в их понимании была нечто большим, чем простое созерцание. Это – испытание своей воли, чувств, самоучительство и самопознание. Это – своеобразная философия жизни.

Летом 1904 г. М.А. Волошин был в Швейцарии, где встретился с А.М. Пешковским. В письме М.В. Сабашниковой 10/23 июля 1904 г. из Макона (Франция) он обмолвился о том, что с А.М. Пешковским «теперь все расходимся дальше и дальше. Мы встречаемся раз в год и говорим по несколько дней

напролет. Он все старается меня понять. Я стараюсь ему объяснить все с наивозможной для меня последовательностью и ясностью, но, очевидно, понимание совсем не в этом, и мы чувствуем, что после каждого разговора остается все меньше и меньше прошлого» [5, с. 100–101].

В письме своей давней знакомой А.М. Петровой 29 июля/11 августа из Женевы он признавался: «Свидание мое с Пешковским было очень тяжело. Мы с ним расходимся. Уже разошлись. А когда встретимся – Бог весть. Это полное непонимание. Непонимание с его стороны. Его я понимаю и ценю, потому что и я этим раньше жил. Но он меня не понимает. А, не понимая, принять не хочет. Он не хочет допустить, чтобы я что-нибудь писал или говорил из того, что я теперь пишу и говорю, говорил бы искренно. В конце концов, он мне прямо не позволяет быть самим собой. Есть грани, которые он не хочет и не может переступить. Он чего-то во мне окончательно не может мне простить. Я рад, что при наших разговорах все время присутствовал Яша, и благодаря этому атмосфера логики была все-таки легче, чем осенью в Москве. Я для него даже делал уступки: говорил последовательно и доказывал. Но именно эта атмосфера логики и убивает все, она переводит из пределов жизни разговор в мертвые области убеждений. Он живет только в этих областях и меня же упрекает в полном незнании и равнодушии к жизни. Это очень печально, но я чувствую, что Пешковский меня окончательно отверг. Внешние отношения остались те же. Но связывает нас только прошлое. В настоящем между нами нет ни одной точки соприкосновения. Встреться мы с ним теперь впервые, мы бы не сказали друг с другом двух слов. Так мы далеки» [3, с. 140–141].

Летом 1905 г. А.М. Пешковский планировал со своей будущей женой приехать во Францию. Там же находился и М.А. Волошин, которого он усиленно просил «во имя когда-то пылавших и еще не совсем заглохших чувств» помочь ему с организацией поездки по Бретани. А.М. Пешковский буквально забросал своего друга «зоологическими» вопросами: «[...] 5) Есть ли смысл в июле и августе ехать в Бретань? 6) В какое время дня бывает там в это время отлив? 7) В какой пункт Бретани нужно поехать, чтобы найти богатейшую фауну на дне морском во время отлива? 8) Что ты думаешь относительно Киберона на полуострове того же имени в Бретани? 9) Есть ли что-нибудь подобное тем сокровищам, которые мы видели в Лок-Мариаке, на побережье Немецкого моря в Бельгии и Голландии или Ламанша и Па де Кале со стороны Англии (где мы будем до Бретани и до Парижа), другими словами, есть ли необходимость, чтобы увидеть рака-отшельника, ехать непременно в Бретань, или его можно найти и у других берегов? [...]» [3, с. 177–178].

М.А. Волошин незамедлительно откликнулся: «Я буду счастлив тебя видеть в Париже (особенно еще женатым) [...].

Времени я тебе уделю во всяком случае достаточно, чтобы ты попросил пощады. Только по музеям ходить не буду – надоели (это и лучше), а буду показывать “жизнь”» [3, с. 176–177] (фрагмент письма, март 1905 г.).

Долгожданная встреча когда-то близких друзей состоялась. М.А. Волошин писал об этом матери из Парижа в конце августа 1905 г.: «Пешковский с женой поселился у меня в мастерской. Жена его очень мила и симпатичная. Но он производит очень удручающее впечатление. Он как-то в браке совсем распустился и опустился. Может быть, это производит такое впечатление по сравнению с ее молодостью и свежестью. На самом видном месте в мастерской он повесил на стене ничем не задрапированные клистирные приспособления, одет ужасно, все время при ней считает деньги и боится перерасходовать, как будто он путешествует на последние средства, потом с ним совершенно не о чем говорить – он отказывается воспринимать самые простые мысли и слова. Словом, его вид меня ужасно удручет и мне жалко его жены, а не его.

Он очень торжественно называет ее “моя жена”. Но в общем, кажется, наша совместная гимназическая жизнь оставила в нем такое впечатление, что супружеская ему кажется только ее продолжением. Жена его мне жаловалась, что он ее называет часто “Максом”, меня же он уже несколько раз называл Милочкой» [3, с. 217–218].



Профессор Роман Федорович Брандт

На одном из учебников А.М. Пешковского «Наш язык» начертано: «Моему первому и незабвенному учителю Роману Федоровичу Брандту посвящаю я эту книгу». Мы не знаем пока еще многих обстоятельств жизни А.М. Пешковского в студенческие годы, но можем предположить, что именно Р.Ф. Брандт, знаменитый славист, профессор Московского университета, сыграл определенную роль в становлении А.М. Пешковского как личности в годы его революционных увлечений и скитаний. Известно, что Р.Ф. Брандт с 1889 по 1902 гг. «состоял секретарем историко-филологического факультета, неоднократно исполнял обязанности декана...» [7, с. 7] и, быть может, способствовал благополучному завершению А.М. Пешковским университетского курса. Он окончил *alma mater* только в 1906 г. Кроме того, Р.Ф. Брандт был широко известен как поэт-баснописец, переводчик произведений славянских и западноевропейских художников слова, он откликался и на современные его времени явления (например написал работу о языке футуристов). Неравнодушен к новым веяниям в литературе был и А.М. Пешковский, сдавший оригинальные работы по лингвистическому

стиховедению и поэтике. Так соприкасались, явно или же косвенно, судьбы двух самобытных филологов – учителя и ученика.

Общение с М.А. Волошиным, хоть и с перерывами, продолжалось. Так, А.М. Пешковский попытался сделать стихотворные переводы из Горация, ознакомил своего друга с ними в Москве 29 января 1910 г. и спрашивал совета: «...принялся за обработку переводов по твоему рецепту, т. е. посвящая каждой оде чуть не день. В результате переработал 2 оды и заново перевел одну, что и предлагаю твоему благосклонному вниманию. [...] мне очень хочется знать твое мнение и во всяком случае о красоте или некрасоте стиха, т. е. звуков, размера, выражений и т. п., ты мне скажешь, а я уж разберусь, в чем виноват я, а в чем Гораций. Дело в том, что я не считаю возможным исправлять или комментировать в переводе (таков вообще мой взгляд на перевод) и поэтому стараюсь неясное или двусмысленное у Горация передать столь же неясно и двусмысленно, вычурное – вычурно, необычное для латинского языка – необычным для русского, наоборот, простое, иной раз слишком прозаическое – простым и прозаическим и т. п.» (см. подробнее: ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. № 964. Цит. по изд.: [3, с. 534]; из письма, датированного около 18 апреля 1910 г.).

М.А. Волошин тянул с ответом, но в конце концов решился высказаться (ответное послание датировано 4 мая 1910 г., Коктебель):

Мой милый Саша, я действительно должен тебе признаться, что твои переводы не только мне не понравились, но даже очень не понравились, и отчасти поэтому я заставил тебя так долго ждать моего ответа. Но ты моему мнению не придаешь слишком большого значения, и потому я не побоюсь высказать его целиком. Когда ты читал мне их в Москве, то я был так заинтересован опытами твоими над размерами, что совершенно не обращал внимания на слова. Теперь, когда я прочел их сам, то увидел, как это тяжеловесно и не похоже на подлинник. (У меня есть Гораций в прозаическом переводе Леконта де Лиля, считающемся совершенным, и вместе с латинским текстом, так что я имел возможность дешифрировать подлинник). У тебя совершенно и безнадежно не схвачен ни дух, ни стиль Горация. Я думаю, ты не будешь оспаривать, что перевод должен давать эквивалент подлинника. Гораций – поэт светский, легкий, с улыбкой сообщающий свою легкую житейскую мудрость. Его обаяние – это ясность стиха и простота слов. А что ты сделал из него. (Почему «злато», а не «деньги»? Почему «слава», а не «молва»? и т. д.) В смысле передачи горацианского духа мне кажется идеальным вольный пушкинский перевод «Кто из богов мне возвратил...». Стиль Пушкина – вот русский эквивалент стилю Горация. А ты почему-то счел нужным писать слогом ломоносовским. Твои переводы трудно понять – в них торжественный штиль, лжеклассицизм дурного тона. Я понял смысл некоторых строф, только прочтя их по-французски. Разве это игривые, любезные, латински-яочные стихи светского *vivant*, каким он был? Это подстрочник, переложенный в стихи, – не больше. В них нет ни малейшего творчества... Ну, вот, а теперь, хотя я тебя окончательно разобидел и оскорбил, то хочу прибавить, что как ритмические опыты это мне все же кажется очень интересно и нужно и полезно для русского стиха. И Сапф<sup>ическая</sup> и Алкеева – мне нравятся, но Архилохова III – я ее не смог почувствовать. Спондии по-русски – нелепость и возможны только в правильных гекзаметрах и то с крайней осторожностью и для каждого должны быть свои логические и звуковые оправ-

дания. А здесь это просто отсутствие одного слога, которое режет ухо. Ты только по одному дню на оду употреблял? Это при новых и непривычных языку размерах просто престижитаторство (устар. перен. *фокусничество*. – *O. H.*). Чтобы передать такую строфи, как Архил<sup><охова></sup> III, надо по крайней мере месяца два непрестанно жить в ее ритме, тверди его про себя за каждым делом и отбирая к ней группы возможных слов и сочетаний. Разве можно иначе?

Я, когда уехал из Москвы после нашего разговора, целий месяц выступжал в уме Алкееву строфи и сделал потом несколько опытов. [...]

Я пишу тебе мое мнение голословно, потому что оно настолько отрицательно. Я пробовал твои переводы исправлять, но это, по-моему, безрезультатно. Но если хочешь – напиши, и я тогда напишу тебе детальный разбор каждого слова и оттенка 2–3-х строф, чтобы убедить тебя в сериозности (так в тексте. – *O. H.*) моего мнения.

А теперь – пожалуйста, не сердись на меня: если очень станет обидно, то махни рукой и скажи «декадент» – от этого<sup><го></sup> обида пройдет [...] [3, с. 532–533].

Ответное письмо А.М. Пешковского было отправлено лишь спустя некоторое время (не датировано). Профессиональный удар он выдержал достойно и с признательностью говорил об этом М.А. Волошину: «...досадно стало, что я тебе в свое время не ответил и что наша переписка не продолжилась... Ты наверно подумал, что я обиделся, а я, напротив, очень и искренно был тебе благодарен за откровенность и эту горячую благодарность вот уже несколько месяцев как собираюсь тебе высказать [...] спасибо тебе, что ты не оскорбил меня ложью (выделено нами. – *O. H.*). Если бы для меня твое слово бесповоротно решало дело, то твое благодеяние было бы еще большим, так как я бросил бы переводы, которые как-никак отвлекают меня от языковедения, и сосредоточился бы на своей главной задаче; разбрасывание мне порядочно вредит [...]» [3, с. 536].

Летом 1914 г. А.М. Пешковский был в Швейцарии, в районе живописного Гисбахского водопада, но возвращался в Россию из Германии как раз накануне войны. «После 2-месячного берлинского плена прибыл в Москву [...] В Берлин мы попали потому, что бросились сдуру в Россию через Германию передвойной. Было много мытарств» [4, с. 248], – писал он М.А. Волошину уже из Москвы 15/28 октября 1914 г.

Вся последующая деятельность А.М. Пешковского связана с работой в средней школе и вузах: вначале он преподавал русский и латинский языки в частных гимназиях Москвы, «где условия для работы были несколько менее стеснительными, чем в казенных учебных заведениях» [1, с. 5], а с 1914 г. читал различные дисциплины на Высших педагогических курсах Д.И. Тихомирова. Он работал и в знаменитой Поливановской гимназии. Один из ее выпускников,

В.Г. Шершеневич, впоследствии известный поэт и переводчик, теоретик имажинизма, посвятил учителю раздел «Ломать грамматику» в своей программной книге «2 × 2 = 5» [9, с. 36–48].

Итак, биография А.М. Пешковского 1900-х гг. показывает, насколько сложными и противоречивыми были его отношения с давним гимназическим другом М.А. Волошиным. Но все же центральное место в них занимали по-настоящему дружеские профессиональные споры о философии и эстетике слова, о чувстве ритма и слога. Эти пока еще не совсем уверенные шаги А.М. Пешковского делает под наблюдением М.А. Волошина, но уже знает, чему посвятит свою жизнь. Пройдет немного лет, и он станет одним из самых ярких и оригинальных лингвистов, тонко чувствующих стилистику обыденной и художественной речи и претворивших свои юношеские мечты в подлинно научные образцы эвфонических исследований текста. А.М. Пешковский обозначит и охарактеризует, наверное, самые сложные детали художественных произведений, введет свой метод в систему стилистического анализа и оценки прозы, где главными объектами его внимания станут *благоприязненность и звуковой символизм, благородства и мелодия, морфология и синтаксис*.

#### Источники

ОР ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом).

#### Литература

1. Василенко, И.А. А.М. Пешковский – выдающийся советский лингвист и методист / И.А. Василенко, И.Р. Палей // Пешковский А.М. Избранные труды. – Москва, 1959. С. 5–18.
2. Волошин, М.А. Собрание сочинений / М.А. Волошин. – Москва, 2009. – Т. 8. Письма 1893–1902.
3. Волошин, М.А. Собрание сочинений / М.А. Волошин. – Москва, 2010. – Т. 9. Письма 1903–1912.
4. Волошин, М.А. Собрание сочинений / М.А. Волошин. – Москва, 2011. – Т. 10. Письма 1913–1917.
5. Волошин, М.А. Собрание сочинений / М.А. Волошин. – Москва, 2013. – Т. 11, кн. 1. Переписка с Маргаритой Сабашниковой. Книга первая. 1903–1905.
6. Волошин, М.А. Собрание сочинений / М.А. Волошин. – Москва, 2015. – Т. 14. Письма 1929–1932.
7. Кондрашов, Н.А. Роман Федорович Брандт / Н.А. Кондрашов. – Москва, 1963.
8. Никитин, О.В. «Жизнеописание Пешковского в юности. Тема очень благодарная...» (Опыт воссоздания портрета известного ученого) / О.В. Никитин // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические науки. – 2017. – № 1. – С. 89–96.
9. Шершеневич, В.Г. [Ломать грамматику] / В.Г. Шершеневич // Шершеневич В.Г. 2 × 2 = 5. Листы имажиниста. – Москва, 1920. С. 36–48.

O.V. Nikitin

#### ‘...DECIDED DEFINITIVELY TO GO TO PHILOLOGY’ (DISCUSSIONS AND DISPUTES BY M.A. VOLOSHIN AND A.M. PESHKOVSKY IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL EVENTS OF THE 1900s.)

The article presents a biography of the outstanding Russian linguist and methodologist A.M. Peshkovsky (1878–1933) in the beginning of his career (1900s). It describes and comments on little known facts from the life of the future

scientist abroad and his relationship with his close friend M.A. Voloshin – according to documentary evidence and correspondence. Particular attention is given to the psychological and socio-cultural portrait of A.M. Peshkovsky on the backdrop of the turbulent historical events of the time: his experiences and wanderings, searching for his own ego, trying to find new ideas in philology and first of all in the aesthetic understanding of the text. The changes in the character and targets of the emerging personality of A.M. Peshkovsky are presented in the study. They are associated with the transition from an interest in the natural sciences to philology and pedagogy. The published memoirs contain the description of European morals, travels of M.A. Voloshin and A.M. Peshkovsky, and their cultural and philosophical debates. The article also presents the important historical events which influenced the young linguist's life (unrests in the Imperial Moscow University in February of 1902, and his arrest for the participation in them). The article presents a rich factual material about the cultural life of the era, woven into the psychology of feelings of two prominent figures – M.A. Voloshin and A.M. Peshkovsky.

Socio-cultural portrait, biography, philology, aesthetics, scientific creativity, history.

УДК 378(470.12)



**О.Б. Голубев, Е.М. Ганичева**  
Вологодский государственный университет

#### К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.А. ТЕСТОВА

Данная статья дает возможность ознакомиться с научной и педагогической деятельностью доктора педагогических наук, профессора кафедры математики и методики преподавания математики Вологодского государственного университета Владимира Афанасьевича Тестова.

Вологодский педагогический институт, физико-математический факультет, математическое и педагогическое образование, стратегия обучения математике.

Владимир Афанасьевич Тестов родился 9 февраля 1947 г. в г. Великий Устюг Вологодской области. Отец, Афанасий Георгиевич, после окончания Ленинградского политехнического института работал инженером на танковом заводе, а после переезда в Великий Устюг преподавал электротехнику и черчение в местном автодорожном техникуме. Мать, Анна Валентиновна, работала врачом-рентгенологом в городской поликлинике.

Начальная школа, в которой учился Володя, располагалась на 3 этаже здания педагогического училища. Учеба в школе давалась сравнительно легко, и он всегда был одним из лучших учеников.

В это же время у Володи началось другое увлечение. С родителями он часто выходил за город на природу. Особенно запомнились прогулки вдоль реки Сухоны на речку Воздвиженку. С этого времени у него началась любовь к походам и путешествиям, особенно манили горы. Еще школьником, без родителей, в составе туристической группы Володя совершил пеший переход с рюкзаком через Кавказский хребет. Такие походы продолжались и в студенческие годы.

В школе Володя увлекался многими предметами: вначале больше историей и географией, мечтая о путешествиях; позднее – естественными науками, математикой. В меньшей степени его интересовали

техника, языки и литература, хотя художественных произведений он читал много и с увлечением. В старших классах в его интересах стала преобладать физико-математическая направленность. Володя посещал математический кружок, стал призером областной физической олимпиады.



Среднюю школу № 10 г. Великий Устюг Владимир закончил с серебряной медалью. После некоторого периода колебаний между физикой и математикой он выбрал последнюю и в 1966 г. поступил на отделение